

Четыре письма О.М. Фрейденберг

Подборка фотографий и писем Фрейденберг дополняет биографические статьи этого номера. Здесь всего два корреспондента и только образцы из большого корпуса писем. Переписка с Пастернаком – всемирно известна и давно опубликована, а о другом адресате, Марке Семеновиче Лившице, мы знаем очень мало – немного из Записок и писем самой Фрейденберг, а в основном из письма дочери М.С. Лившица, Ирины Марковны Лившиц, которая в 2013 г. передала письма отца в архив Фрейденберг, за что мы приносим ей искреннюю благодарность.

Итак, Марк Семенович Лившиц, брат гимназической подруги Фрейденберг Елены Семеновны Лившиц, родился в 1893 г., с золотой медалью закончил 6-ю классическую гимназию в Петербурге, что дало ему возможность поступить в 1911 г. на медицинский факультет Московского университета. В Первую мировую еще студентом попал на фронт зауряд-врачом, участвовал в Гражданской войне, после работал в Военно-медицинской академии, защитил кандидатскую диссертацию. Со Второй мировой войны вернулся в академию в звании полковника медицинской службы. Очень тяжело переживал кампанию по борьбе с космополитизмом и дело врачей и умер от обширного инфаркта в феврале 1953 г.

С Борисом Пастернаком они были знакомы и встречались в Москве. В одном из писем своей гимназической учительнице Фрейденберг напишет про Марка: «Чудный человек, врач типа Газа, скромный и невидный, отдающий жизнь, время, сердце всем, кто в нем нуждается» (ноябрь 1918 г.). Как знать, не был ли этот доктор, его жизнь и смерть среди тех разнообразных впечатлений, из которых соткался образ и судьба доктора Живаго?

Марк Лившиц, а затем его дочь сохранили около 70 писем Ольги Фрейденберг за 1910–1922 годы. Более поздних писем нет, хотя

известно, что они общались. Фрейденберг же не сохранила писем Лившица, как и остальных своих друзей и знакомых, только в альбоме остались пять его открыток за 1911–1920 годы. Но значение Лившица как своего корреспондента Фрейденберг прекрасно выразит, сравнивая их письма с перепиской с Борисом Пастернаком: «Ваше письмо так меня обрадовало, Мотя. <...> Вы сами даёте максимум искренности и простоты, потому мне так и пишется Вам. И потом, разве не радостно, что Вы цените эти качества! И как бы там я ни писала, а хорошо, что Вы не прилагаете к словам и к письмам узкожитейского взгляда. Хорошо, что с Вами можно говорить, как говорится. Между прочим: я редко переписываюсь с Борей, но если б Вы видели наши письма! У нас раз навсегда принято плюнуть на условности и не бояться никаких слов; в результате каждый говорит, что хочет, и понимает все слова в их чистом виде, вне всяких привычек».

Письма публикуются с небольшими купюрами, известные исторические фигуры не комментируются.

Фрейденберг – Лившицу,
Баденвейлер (Германия), [май 1911 г.]

Salve, magister! У Вас завтра или сегодня экзамен – первый «настоящий», и мне очень хотелось бы, чтоб это мое письмо не запоздало с пожеланием успеха и всякого рода благословениями.

Ничего хорошего не могу Вам сейчас написать; живу в Баденвейлере¹ и так все мне здесь противно, что опускаются руки. Мотя, пойдите на Невский, вдохните в себя гадкий воздух – и благословляйте, благословляйте небеса! Если б Вы могли оценить, какое счастье быть в Петербурге, хотя грязном и душном, но вдали от немецкого курорта и бьющей в глаза зелени! Ей-Богу, я совершенно здесь больна; худа и бледна совершенно, обессилена, плевра болит больше прежнего, раздражительна так, что мама от меня в отчаянии. Знаете, все злит: и воздух, и горы, и зелень, и люди. Я знаю, что любить природу – это очень красиво, и все порядочные люди ее любят. Я же проклинаю ее с утра до вечера. На кой черт мне природа? Что может быть у меня с ней общего, у меня, исчадия города, выросшей в городе, воспринявшей его? Деревья и птицы меня удручают. Я чувствую в них другой мир, совсем другой; они меня поражают, волнуют, но природа сама по себе, я сама по себе. Вы знаете, у деревьев своя, особенная, жизнь; когда их много – выходит грандиозно. Это меня мучает – пропасть между жизнью природы и человека. Стоят горы, растёт зелень, поют птицы – и все это управляется своими законами, для меня чуждыми. А то, что важно для меня – может ли оно «найти отклик» в горе или птичке? И в то же

время – природа не дает свободы, подчиняет себе, и это невыносимо. Смотрите, солнце спрячется, хочет пойти дождь, – и горы застывают, деревья останавливаются, молчат птицы. Даже воздух реагирует: в нем висит что-то тяжелое, напряженное. И я как ни злюсь, а чувствую в себе томление, ожидание. И так вокруг все меняется каждый час, каждую минуту: жизнь. И человек тут так не у места, так выбит из колеи; я не могу долго прожить среди природы, не утомляясь смертельно. Вот в Берлине меня поразило то, что в самом его центре столько зелени и такие роскошные, густые парки. Странная помесь типичного города и простой природы. Но это несправедливо: как можно мешать человека и птицу, торговый дом и дерево? Вообще, знаете, немцы – поразительный народ. Они все себе подчиняют. Чтобы



М.С. Лившиц. 1910-е гг.
Из архива И.М. Лившиц

обставить свой Берлин, они не пожалели ничего, не остановились ни перед чем. Они знали, что колонны красивы; и вот они, без колебаний, взяли от архитектуры самое драгоценное и начали лепить его всюду. Без жалости, без любви к стилю и к древности. И весь Берлин теперь в колоннах. Но знаете, что такое вообще Берлин! Это ряд колоссальных домов, самых громадных и плотных, какие Вы только можете себе вообразить. Они так высоки, так роскошны и... так однотонны даже в своем разнообразии, что сначала Вы поражаетесь, а потом видите, как влево, вправо, всюду все то же. И колоннады. Музей? – Ставят колонны, кладут мрамор, воздвигают по бокам музея скачущих людей, великих – конечно. О, если б Вы знали, как немцы любят монументы! Весь город в денкмалях², и каждый из тяжелой бронзы или мрамора, и окружают его символические фигуры, и у символических фигур в руках подходящие к случаю предметы, и все это грандиозно, тяжело, стопудово. Магазины занимают такие дома, которых в России не знают. Но оглянитесь: непременно увидите колоннаду. Она втиснута во все дворцы, во все театры, во все крупные дома – и в декадентские, и в национальные. Нет, Вы подумайте: немецкая Греция, немецкий Рим! Ведь это варварство! И природы они не пощадили: и ее втащили в Берлин. Зато, мол, город уж на славу. Прелестна «Зигес-аллея»: сам Виль-

гельм повелел в парке по обеим сторонам соорудить монументы великим людям. Таковых оказалось множество; все это очень красиво, но с точки зрения искусства это все – нуль. А знаете, Берлин – это старший брат Пет[ербур]га. Я люблю его за то, что он – город. Какая-н[ибудь] поэтическая натура съела бы меня за это, но – что делать! – я отравлена городом, как морфием, и люблю его, и стою за него горой, и хочу жить только в нем одном. Как морфий, он все дороже мне с годами, и я даже не предвижу, чем окончится эта нарастающая любовь. Пусть там говорят, что хотят, а культура человеческая так велика и сам человек так интересен и красив, что никакая гора или соловей его не затмят. Что природа? Жизнь и смерть – вот все, что она дает. А человек давно перешел за эти понятия и создал другое, свое. Я вспоминаю, Мопассан сказал где-то: человек могущественнее природы, пот[ому] что он может воскрешать. Т. е. воскрешает человеческой мыслью, воображением, но это у нас и есть самое ценное.

Да, Мотя, вот после таких философствований хорошо пойти на экзамен и, чувствуя себя богом, получить двойку. Но верьте же, ей-Богу, что петербургская двойка лучше баденвейлерского молока. <...>.

Ольга

Фрейденберг – Лившицу,
Петроград, 8 апреля [1917] г.

Милый Мотя, получила от Вас два письма, из коих второе говорит о запоздавшей вести о свободе. После революции я писала Вам, и Вы получили, вероятно, мое беглое письмо. Со всех сторон я получаю письма подобные Вашему – письма взволнованные, голодные и просящие подробностей. Но я бессильна отвечать на них. ...Чувства утомлены, мысли исчерпаны. Первые слова свободы со сладостной болью разбивали цепи у сердца, и оно освобождалось и росло; но разве Вы не знаете по опыту, что мучительно и опасно для жизни разбивать у сердца даже цепи.

Ах, что я Вам пишу. Вы вправе возмутиться. К величайшей исторической эпохе я подхожу с такой бабской меркой. Но знаете что? Эта эпоха уже прошла. Она далека уже. События летят, события духа же предревают все, что еще вероятно. Революция – да; но ведь каждый преломляет ее в себе и по-своему; ведь не только в уровень нужно было быть со всеми событиями, но и сохранять ту дистанцию, которой отделяются внутренние события от реальных. Опять я говорю не то. Чувствуете ли Вы, как я готова говорить о чем угодно, но только не о фактах? Не о том, что только и интересует Вас сейчас? Хорошо. Итак, жизнь налаживается, Америка объявила войну, Франция блестяще побеждает³. Продо-

вольствия больше, хлеб по карточкам уже более доступен, порядок в городе полный. Тревогу вызывает только немец, из-за немца тревога за фронт, из-за фронта тревога за дисциплину и снаряды, из-за дисциплины и снарядов тревога за тактику рабочих и Совета их депутатов. Итак, беспересадочное сообщение – немец–совет рабочих депутатов. Вот наши темы, наши злобы дня, волнения, интересы и споры. Совет сильно завирается, рабочие занимаются партийными делами. Армия сильно недовольна ими. Создают двоевластие, подрывают престиж врем[енного] правительства и вносят раскол и страстность. Есть течение против войны, против врем[енного] прав[итель]ства и, конечно, против буржуазии; успеха не имеет из-за армии, которая требует войны до конца (т. е. до укрощения германского зверя). Об армии говорю уверенно, пото-

му что хорошо знаю истинное настроение солдат и знакома со многими делегатами с фронта. Свобода вызвала горячий энтузиазм. Вообще, поведение солдат – это нечто сказочное для тех, кто не знал их, и глубоко умилительное для тех, кто знал. Сейчас вообще резко образовалось два лагеря: люди с широкой исторической перспективой и люди без оной вовсе. Первые смотрят в бинокль истории на Россию и будущее мира, не видят того, что возле них, но видят далеко вперед. Другие по близорукости четко замечают все, что окружает их. Кто прав? Кого винить? Конечно, последние знают и видят массу мелочей, и все они настроены пессимистически – и правы. Первые учитывают события и измеряют историей – и правы. Но всматриваясь в людей, прислушиваясь к ним, поражаешься симметрии, с какой природа отложила две категории восприятия и мышления. Я лично, как индивидуалистка и в то же время как верующая в космос, рассматриваю события с точки зрения чистой человечности. И я вижу кучку людей чистых, людей дорогих и святых, апостолов каких-то; я вижу людей, живущих внутренним миром и для которых идея добра – звезда; людей, которых поглотит алчная масса,



О.М. Фрейденберг.
Сентябрь 1917 г.

стадо, толпа, народ. Не народ – простолюдины, плебс, а народ – публика, народонаселение. Знаете, первые дни революции мы жили вестями, телефонами, улыбками или тревогой прохожих. Мы жили лучшим. Лучшие воевали на улицах, лучшие нас оповещали, лучшее в нас жило. Не было «широкой публики». И когда жизнь настроилась и я прошлась по Невскому и увидела разных людей, старых обывательских мужчин и дам, – я поняла: какой непреходящий смысл есть у идеи добра – как двигательна она и блаженно-слепа; какое отвлеченнейшее бескорыстие у борцов и героев; как свята личность; как понятна ее трагическая роль. И вспоминаю Гамлета: если бы не вера в загробную истину, кто стал бы сносить бремя жизни, поругание любви и обиду гордости? Если бы не добро, доверяющее чистыми сердцами, какой герой стал бы спасти людскую массу и обречь себя на пожирание?

Я была на концерте-митинге вольтеров (восставших первыми)⁴. В срединной б[ывшей] царской ложе Мар[инского] теат[ра] сидели В. Фигнер, В. Засулич, [Н.В.] Рамишвили, Н. Морозов и пр. В левой боковой царской ложе – все послы, в правой министры. В бенуаре сидел [Н.С.] Чхеидзе, кавказск[ий] дикарь, злой, фанатичный и упрямый; он председатель сов[ета] раб[очих] деп[утатов]. Он произвел на торжестве политич[еский] скандал, бросая вызов [П.Н.] Милокову. Выручал [А.Ф.] Керенский. Это обаятельный человек, выдвинутый и рожденный революцией. Но (Чхеидзе)ⁿ⁺¹ пожрут его рано или поздно. – Вернулся Додя⁵; борода длинная, ум короток. Так как он у него обнажен – получается страх за человека. Ведь ум партийного человека – это катушка ниток, и ее разматывают до деревяшки; и вот это чувство, когда Вы видите голое дерево катушки, страшнее всего. Ограниченность нашего ума мы декорируем; мы до конца никогда не обнажаем его; у партийного же человека он весь мобилизован, использован, проэксплуатирован – и нам тошно от такой мелочности и бережливости. Итак, Додя за немедленный мир; долой буржуазию, долой врем[енное] правит[ель]ство etc. Что меня удручает – это необразованность, непросвещенность, невежество наших строителей. Как говорил Мопассан: дайте починить ему часы, и он раздраженно ответит, что не умеет; но бесконечно сложный механизм государства он моментально станет починять и вертеть во все стороны. – Период последнего времени был у меня прямо сумасшедший по массе работы. Я никогда столько не работала. Удалось многое сделать. В больницах я увидела солдат, раненных в революцию, и возмущалась тому, как их забросили и оставили в клоповниках. В негодовании я отправилась в Г[осударственную] Думу громить совет солдатск[их] и раб[очих] деп[ута]тов. Попала сперва к коменданту, изложила цель прихода и добилась пропуска. Дума (т. е. [Таврический] дворец) разделена на ряд комнат, и в них заседают комиссии. Вид строго-

деловой, всюду патрули, ни митингов, ни лоботрясов. Я сперва растерялась при виде занятых людей, шелканья машинок, деловых переговоров. Но осмелела и стала искать «птицу». Переходила из рук в руки. Помог мне кукольный солдатик, смотрю – это Евреинов, которого Вы когда-то не выносили. Говорила с главарями финанс[овой] комиссии, исполнительного комитета (самые заядлые большевики) и похоронной комиссии⁶. Я им указывала на то, что они дискредитируют революцию, что мертвых хоронили с почестями и помпой⁷, а тех, кто не догадался умереть, забросили etc. Меня слушали с великим позором, не знали, как и убажить. Я их засыпала аргументами эс-дековского стиля. «Птица» попросил все записать, чтоб не забыть ничего, и притащил бумагу. Я написала подпрыгивающим слогом, призывая к человечеству, достоинству великой революции, и указала, что совет р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] пробуждает в душе раненых жертв революции «трагическую зависть к мертвым». Обращение – к совету, за полной подписью. И так, на основании моего заявления в первом же заседании выступит докладчик (с кот[орым] я говорила) и прочтет совету то, что я написала. Обнаглев окончательно, я подавала массу советов и отчасти требований и триумфально удалилась. <...>

Солдаты теперь граждане; можно вечером ходить в театр. Раненые гуляют одни, без сестер. Меня, конечно, ничто не коснулось, и поднимается обида, если я не сопровождаю. Была с солдатами в Мих[айловском] театр[е] на политич[еской] пьесе Скриба «Стакан воды». Бывала много где; между прочим, матрос со «Штандарта» пригласил осмотреть яхту царя⁸. Особенного ничего. Смотрела Грановскую в «Романе» (общий восторг), впечатления абсолютно никакого⁹. <...>

На этом месте рукопись обрывается. Судорожно, конечно.
Будьте благополучны.

Положеніе раненыхъ.

Собраніе делегатовъ фронта 16 апрѣля, выслушавъ докладъ сестры милосердія о положеніи раненыхъ солдатъ и жертвъ революціи, находящихся въ лазаретахъ, считаетъ, что отчаянное положеніе раненыхъ не соответствуетъ огромнымъ заслугамъ передъ страной указанныхъ лицъ. Поэтому собраніе фронтовыхъ делегатовъ считаетъ необходимымъ выразить сожалѣніе и негодованіе и требовать отъ Исполнительнаго Комитета Совѣта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, немедленнаго созданія органа, защищающаго интересы раненыхъ инвалидовъ, который бы заботился объ улучшеніи ихъ положенія. Для ознакомленія на мѣстахъ съ положеніемъ, въ которомъ содержатся раненые и больные воины, въ лазаретахъ Петрограда и въ частности въ Городскомъ лазаретѣ № 100, собраніе рѣшило образовать комиссію въ составѣ 6-ти членовъ.

Вырезка из газеты
[не ранее 16 апреля 1917 г.]

Фрейденберг – Лившицу,
Петроград, 26 августа [1917] г.

Я давно не писала Вам; получила даже за это время три Ваших письма. Но виноватым в этом считаю Вас, так как Вы поддерживаете связь только формально, а без контакта... переписываться нельзя; нужно, чтоб обмен поступков и мыслей был обоюдным... Я, быть может, не взялась бы за письмо к Вам и сегодня, если б Петербург не переживал критической полосы и если б у меня была уверенность, что я смогу написать позднее. Рига пала, Псков и Двинск под угрозой, Петербург начеку. Эвакуируются все общественные учреждения, и десятками тысяч выселяется и бежит население¹⁰. Каждая семья, каждый отдельный человек решают кардинальный вопрос – остаться здесь или уехать. У нас еще не решено, так как папа стоит за отъезд, а мама и я за спокойное сидение на месте. Если нужно решить, Петербург или Россия, нравственный позор плена или свободная жизнь в отечестве, то я выбрала бы Петербург с позором и горем. Разделить судьбу Петербурга и не покидать его – мне хочется больше, чем Россию; и я должна была сознаться в этом, несмотря на то, что сознаю все изуверство такого желания. Не знаю, что в конце концов возьмет верх, но я предпочла бы для своих родителей гибель на родном пепелище, чем старость на задворках России, бездомную и холодную старость. В конце концов, чаша жизни если еще и не испита мною, то только потому, что она ничем меня не прельщает; и я открыто смотрю в глаза пожарам, разбою, голоду и снарядам, готовая спокойно встретить любой эпилог полупрочитанной повести.

А Петербург царственен, как всегда. С него уже почти содрали порфиру и, пожалуй, никогда не оденут ее обратно – но не в людских силах Гинденбурга¹¹ или Чхеидзе изменить его величественную осеннюю омраченность. Дни холодные, тяжелые и серые, небо сплошное – темное, сады холодные, спокойные и зеленые последними густыми красками. Скоро поднимется ветер, листья высохнут и пожелтеют, начнет волноваться Нева. И что усилия людей, войны и свободы, когда Пушкин воскреснет над Петербургом и Медный Всадник оживет на фальконетовской лошади! Если суждено грубому пошляку в прусском мундире громыхать по Эрмитажу, палить в Адмиралтейство и топтать осенние листья в Царском селе – то прежде чем умереть, нужно допить напиток жизни до дна, за которым ничего уже нет. Пушкин в немецком подданстве и Петр Великий у ног сухорукого Вильгельма¹² – от этого бежать некуда, как от символа жизни.

Все остальное эпизодично. Россия до того несчастна, что нельзя ни говорить, ни думать ни о чем, кроме ее умирающей чести и красоты.

Желаю Вам лучшего, что сейчас может быть, – узнать обо всем сразу, не сопутствуя всем подробностям своей жизнью.

До свиданья

Оля

Фрейденберг – Пастернаку,
Ленинград, 29 ноября 1948 г.

Дорогой мой Боря!

Наконец-то я достигла чтения твоего романа.

Какое мое суждение о нем? Я в затруднении: какое мое суждение о жизни? Это жизнь – в самом широком и великом значении. Твоя книга выше суждения. К ней применимо то, что ты говоришь об истории как о второй вселенной. То, что дышит из нее, – огромно. Ее особенность какая-то особая (тавтология нечаянная), и она не в жанре и не в сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне не доступно ее определение, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди.

Это особый вариант книги Бытия. Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выражения в искусстве или науке – и боишься этого до смерти, т. к. она должна жить вечной загадкой.

Ты не можешь себе представить, что я за читатель: я читаю книгу, и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое суждение не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать, как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение напрокат почти бессмысленно.

Как реализм жанра и языка меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти и что этим все объясняется – твоя страстная бессмертность, которую ты строишь как кровное свое дело. Я всецело с тобой



Б.Л. Пастернак, Перedelкино, 1946 г.
Из архива Б. Пастернака в Москве

в этом; но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи – одних уж нет, а те далече – и тютчевского «на роковой стою очереди». Это такое чувство, словно при спуске в метро: стоишь на месте, а уж не сверху, а внизу...

Много близкого, родного, совершенно своего, от семейной потребности в большом и главном, до формулировок и разрешений частных проблем. Но я под родным и семейным (так и под боязнью смерти) разумею великое, транспонированное в частное (а не конкретные малости). Но не говори глупостей, что все до этого было пустяком, что только теперь... etc. Ты – един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь. Стихи, тобой приложенные, едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией. И очень хороши.

Но все, что я пишу, не то, что я воспринимаю. Следовало бы ответить не письмом, а долгим поцелуем. Как я понимаю тебя в твоем главном!

За карточку спасибо, хотя мне досталась не очень удачная, с челюстью и выгнутой шеей.

Работы у меня – ужась! Да, как быть с книгой? Жду оказии, почтой боюсь. Скоро представится случай передать из рук в руки. С благодарностью обнимаю тебя.

Твоя Оля.

Примечания

- ¹ Фрейденберг заболела плевритом, который перешел в туберкулез, и по рекомендации врачей весной 1911 г. поехала вместе с матерью в Германию, а затем в Швейцарию.
- ² Denkmal (нем.) – памятник.
- ³ Америка вступила в войну 6 апреля, под «победами» Франции скорее всего имеется в виду наступление Нивеля, начавшееся 16 апреля (3 апреля по ст. ст.), о котором восторженно писали столичные газеты.
- ⁴ Соединение концерта с классическими музыкальными номерами и митинга с политическими выступлениями как форма культурного мероприятия появилось и было очень популярно весной-летом 1917 г. Подробнее см.: <http://homofestivus.ru/miting-koncert.html> (дата обращения: 17.11.2016). Вооруженный мятеж 27 февраля 1917 г. первой подняла учебная команда запасного батальона Волынского полка во главе со старшим унтер-офицером Т.И. Кирпичниковым. Этот митинг-концерт состоялся 25 марта (7 апреля по н. ст.) 1917 г., по свидетельству Мориса Палеолога, и подробно описан в его дневнике (Дневник посла. М.: Захаров, 2003. С. 786–789).
- ⁵ Сапер Давид Лазаревич (1893–19??) – друг детства и юности Марка Лившица и Фрейденберг. Член партии левых эсеров. Февральская революция застала его

в ссылке. В советское время был неоднократно арестован, в 1922 г. приговорен к расстрелу, замененному на пять лет тюрьмы.

- ⁶ Речь идет о комиссиях и исполкоме Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Похоронная комиссия существовала с марта по сентябрь 1917 г., и в ее задачу входило составление списков раненых или убитых, оказание помощи их семьям, организация похорон жертв революции. Состав исполкома в апреле 1917 г. еще не мог быть большевистским, позже в автобиографических записках Фрейденберг напишет, что не особенно разбиралась в партиях: «Я не имела никаких представлений о классовой борьбе, о партиях; никогда не слышала о меньшевиках и большевиках» (Записки. Т. 1–2. Л. 140 об.).
- ⁷ Торжественные похороны жертв революции 23 марта 1917 г. Подробнее см.: Чертилина М.А. Проблемы архивоведческого и источниковедческого анализа кинофото документов о событиях Февральской революции 1917 г. // Вестник архивиста. 2012. № 2. С. 75–91.
- ⁸ «Штандарт» – императорская яхта, спущена на воду в 1895 г., любимое судно царя. После революции на нем размещался созданный в конце апреля 1917 г. центральный революционный орган моряков-балтийцев – Центробалт.
- ⁹ Грановская Елена Маврикиевна (1877–1968) – русская и советская актриса, сыгравшая в популярной пьесе Эдварда Шелдона «Роман» роль Маргарет Каваллини.
- ¹⁰ Рига была оставлена русскими войсками 21 августа (3 сентября) 1917 г. Ее захват открывал путь немецкой армии на Петроград, что вызвало подготовку к эвакуации правительственных учреждений и массовое бегство населения.
- ¹¹ Пауль фон Гинденбург (1847–1934) – прусский генерал-фельдмаршал, во время Первой мировой войны главнокомандующий на Восточном фронте, с 1916 г. – начальник Генерального штаба, впоследствии ставший рейхспрезидентом Германии.
- ¹² Вильгельм II (1859–1941) – последний император Германии и король Пруссии. Родился со многими физическими недостатками.

*Публикация, вступительная статья
и комментарии Н.Ю. Костенко*